

УДК 821.161.1-312.6 + 929 + 821.161.1 Варшавский +
+ 921.161.1 Поплавский

М. А. Васильева

БОРИС ПОПЛАВСКИЙ КАК ВИЗАВИ ВЛАДИМИРА ВАРШАВСКОГО

Самый эмигрантский из всех эмигрантских писателей Борис Поплавский

В. Варшавский. Незамеченное поколение

Борис Поплавский — один из центральных персонажей книги Владимира Варшавского «Незамеченное поколение» (1956). Писатель не только хорошо знал Поплавского лично и был его другом. Для Варшавского образ поэта являлся неотъемлемой частью русского Монпарнаса, его символом. К имени Бориса Поплавского писатель возвращался не раз, в том числе в докладе «Русский Монпарнас» (1974), в котором развернул полемику с американскими славистами. В этой полемике Варшавский выдвинул постулат о том, что поэт Поплавский «не полуфранцузский и не парижский, а эмигрантский, русско-монпарнасский». Доклад Варшавского вызвал живую реакцию у современников, что нашло отражение в ряде писем, которые, так же как и доклад, хранятся в архиве Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.

Ключевые слова: литература русского зарубежья; американская славистика; архивные разыскания; Б. Поплавский; В. Варшавский.

В архиве Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына (фонд писателя В. С. Варшавского) (далее — ДРВ) хранится фрагмент доклада «Русский Монпарнас». Его автор — прозаик, в котором русские эмигранты видели «представителя, описателя и апологета русского парижского “монпарнаса”» [Шмеман, с. 263] благодаря на шумевшей книге «Незамеченное поколение» [Варшавский, 1956], видимо, придавал докладу большое значение. Во всяком случае, по свидетельству профессора Женевского университета Жоржа Нива (организатора Русского кружка при университете), это было единственное выступление Варшавского на заседании кружка.

Текст доклада (авторизованная машинопись с густой рукописной правкой) помещен в картонную папку с надписью «Доклад» вместе с приглашением, напечатанным на листке формата А 5, содержание которого приводим ниже:

ПРИГЛАШЕНИЕ

В среду 23 января состоится доклад писателя Владимира Сергеевича Варшавского на тему:

«РУССКИЙ МОНПАРНАС»

(русская литературная жизнь в Париже 30-х годов).

Доклад будет прочитан в 20 час. 30 мин. В аудитории № 48 Женевского университета.

Русский кружок

Год на приглашении не поставлен, текст доклада также не датирован. Однако судя по письму к Варшавскому одного из слушателей доклада — известного публициста и критика Марка Слонима, написанному на следующий же день после выступления (24 января 1974), а также по ряду писем Варшавского к Николаю Татищеву год легко восстановить. Уточнение года выступления Варшавского в Русском кружке привносит немало важных нюансов в контекст его обращения к межвоенному русскому Парижу. В 1974 г. Варшавский вместе с женой Татьяной Георгиевной Варшавской (урожд. Дерюгиной) переезжает в местечко Ферней-Вольтер под Женевой, впервые обосновывается в своем доме, «пускает корни». В середине 1970-х гг. писатель начинает вести дневник, где подводит итоги своих творческих и философских исканий. В 1974 г. он всю работу над новой редакцией «Незамеченного поколения», в которую вносит существенные дополнения (дает названия главам, пишет отдельную часть, посвященную евразийству, значительно перерабатывает главу о революционных течениях, главу о Национально-трудовом союзе и младороссах и т. д.); глава четвертая, которой в новой редакции дается название «Парижский русский Монпарнас», также подлежит переработке и обновляется во многом за счет фрагментов женевского доклада¹. В 1977 г. в парижской «Русской мысли» появляется статья «Монпарнасские разговоры» [Варшавский, 1977], также перекликающаяся с докладом «Русский Монпарнас». Однако важнейшая полемическая составляющая женевского доклада осталась за пределами этой публикации. Именно на полемический пафос доклада «Русский Монпарнас» и хотелось бы обратить внимание. Важным событием, послужившим своеобразным детонатором этой полемики и заставившим Варшавского на склоне лет снова и неоднократно обращаться к русскому Монпарнасу, стала публикация в американском журнале «TriQuarterly» (1973, № 27) тематического блока, посвященного Борису Поплавскому. Публикация была подготовлена соредактором журнала Семёном Карлинским, в нее, помимо статьи самого Карлинского «В поисках Поплавского. Коллаж» [Karlinsky, 1973], вошла статья Энтони Олкотта «Поплавский. Вероятный наследник Монпарнаса» [Olcott, 1973], а также стихотворения Бориса Поплавского и глава из его романа «Домой с небес» в английском переводе. Публикация появилась за несколько лет до выхода в свет трехтомного собрания сочинений Поплавского, подготовленного также Карлинским [см.: Поплавский, 1980—1981], что стало своеобразным подведением черты под многолетней работой американского слависта в деле изучения и популяризации творчества русского поэта-эмигранта.

Первое, что бросается в глаза при чтении статьи Карлинского в «TriQuarterly», — необычайная увлекательность повествования. Очевидно, что славист ставил перед собой специальное задание — рассказать о малоизвестном русском поэте «первой волны» эмиграции американскому читателю на

¹ Текст доклада не опубликован. Новая редакция «Незамеченного поколения» подготовлена к изданию сотрудниками ДРЗ О. А. Коростелевым и М. А. Васильевой при участии Т. Г. Варшавской [см.: Варшавский, 2010].

«понятном» ему языке, ввести в загадочный и сложный мир Поплавского, используя доступные западному менталитету средства. Для этого Карлинский делает весьма остроумный ход: он не упрощает разговор о поэте и в то же время не надевает маску всезнающего мэтра², напротив, использует прием максимального сближения с читателем, который *hic et nunc* откроет для себя неизвестного писателя. Славист делится собственным опытом «первооткрывателя», когда впервые в начале 40-х услышал имя Поплавского, а потом прочитал его поэтический сборник «Флаги» в публичной библиотеке Лос-Анджелеса. Таким образом, автор выстраивает с читателем доверительный разговор, с каждым шагом дополняя и усложняя повествование и в то же время не изменяя глубоко личностной интонации, которая диктует в статье всю систему трактовки поэтики Поплавского.

Приводя цитату из статьи Николая Татищева «Борис Поплавский»³, Карлинский замечает: «Мое собственное впечатление, и оно остается одним из самых ярких за всю мою жизнь, было несколько другим. Я был поражен прежде всего яркими цветами, водоворотами метафор, подлинностью прозрачного напряженного состояния, переданного в стихах» (здесь и далее перевод наш. — М. В.) [Karlinsky, p. 347]. Это замечание глубоко связано с целым рядом положений статьи Карлинского о влиянии изобразительного искусства и в том числе живописи самого Бориса Поплавского на его поэтику. «Неразрешимая дихотомия между поэзией и живописью — вот что составляет сильную визуальную природу его образов и большую часть его предмета. Согласно Терешковичу, Поплавский воспринимал себя в течение нескольких первых лет изгнания не как поэт, но как живописец», — замечает Карлинский [Ibid., p. 359]. Автор статьи приводит примеры наиболее «живописных» и «эмоциональных», с его точки зрения, стихотворений поэта («Лунный дирижабль» и «Весна в аду») в своем переводе, делая при этом следующую оговорку: «Мой английский язык не может воспроизвести пульсирующую музыку, которая исходит от этих строк на русском языке и при этом не передает искусные рифмы. Есть страницы и страницы в этой небольшой книге, которые рождают эту смесь цвета и музыки» [Ibid., p. 347]. Отсюда логически следует еще одно наблюдение о предельной музыкальности стихов Поплавского. Если учесть, что Карлинский долгие годы профессионально занимался музыкой⁴, то его замечание носит характер исключительно предметного, музыковедческого анализа ритмической структуры стиха. Это наблюдение, помимо исследовательской составляющей, отмечено своеобразным «сотворчеством»: «Я попробовал

² Начиная с 1950 г. Карлинский писал о Поплавском неоднократно [Karlinsky, 1967; 1977].

³ «Первое впечатление от “Флагов” было такое: звук чистый и шемящий. Понять почти ничего невозможно. Лишь иногда что-то прорвется и ужалит, “О Морелла, вернись, все когда-нибудь будет иначе”. Тревога, взволнованность. Стрелка барометра бьется на буре. Такое беспокойство, что его удастся выразить лишь в умышленно приблизительных словах. Весь мир застыл в сновидческом состоянии, “где никто никого не любит”, иногда на секунду мерещится, что вот-вот кошмар оборвется, случится чудо пробуждения, чудо избавления» [Татищев, с. 154].

⁴ В 1950-е гг. Карлинский учился в Ecole normale de musique de Paris у Артюра Онеггера, а затем у Бориса Блахера в берлинской Staatliche Hochschule fur Musik.

сочинить музыку на него, — признается Карлинский. — Я обнаружил, что строки “Артуру Рембо” могли быть спеты на мелодию для соло кларнета из “Франческа да Римини” Чайковского, и я действительно пел их одержимо» [Karlinsky, p. 349].

Таким образом, в случае со статьей в «TriQuarterly» мы имеем дело с подчеркнuto субъективным, глубоко личным опытом прочтения Поплавского и в то же время — с попыткой максимально объемной реконструкции образа поэта, на которого смотрит автор словно через разные грани призмы — как «рядовой читатель» и одновременно как профессиональный филолог, переводчик и музыкант. При этом историко-литературный контекст жизни и творчества Поплавского, литературная ситуация межвоенного Парижа (имена Ю. Терапиано, В. Варшавского, Г. Адамовича, В. Яновского, В. Ходасевича, Г. Иванова, В. Набокова и др.) вплетены в статью довольно искусно.

Публикация в «TriQuarterly» могла бы послужить примером как минимум увлеченного отношения к предмету и уже тем самым вызвать сочувственный отклик у автора «Незамеченного поколения». Между тем ряд основных положений статьи Карлинского спровоцировал жесткую критику Владимира Варшавского. Речь идет, в частности, об утверждении американского слависта прямой связи поэтических откровений Поплавского с его наркотической зависимостью. Самую же непримиримую критику вызвал пассаж о тотальном влиянии французской литературы на творчество поэта: «Я не так хорошо знал поэзию в это время, — пишет Карлинский, — чтобы распознать источники творчества Поплавского, французского влияния на него: Бодлер (оказавший самое большое на него влияние, чем кто бы то ни было, после Блока), Нерваль, Рембо, Лафорг, Аполлинер, Бретон. Я не знал тогда, как я знаю теперь, что Борис Поплавский был в некотором смысле очень хорошим французским поэтом, который принадлежит русской литературе главным образом лишь потому, что он писал на русском языке» [Ibid., p. 348]⁵. Обширный полемический ответ Варшавского прозвучал сперва в его докладе в «Русском кружке» и был продолжен и значительно дополнен в новой редакции «Незамеченного поколения», где, в частности, сказано: «Князь Д. Святополк-Мирский писал, что Борис Поплавский поэт скорее парижский, чем русский⁶. Семен Карлинский идет еще дальше: «Поплавский, — говорит он, — в известном смысле очень хороший французский поэт,

⁵ Эту точку зрения Карлинский высказывал неоднократно: «Литературное наследие Поплавского не русское, а французское. За исключением того факта, что он писал по-русски, он мог бы совершенно естественно занять свое место в ряду “проклятых поэтов”» [Поплавский, 1980, т. 1, с. ix–xii]. Подобные же рассуждения см.: [Olcott, p. 305–319].

⁶ Варшавский имеет в виду следующий пассаж у Мирского: «Среди парижан определенно выделяется Борис Поплавский. Некоторые из его стихов... заставляют остановиться и с удивлением прислушаться к голосу настоящего и нового поэта. Интересно в Поплавском, однако, то, что он совершенно оторвался от русской поэтической тематики. Это первый эмигрантский писатель, живущий не воспоминаниями о России, а заграничной действительностью. Эволюция, неизбежная для всей эмиграции» [Святополк-Мирский, с. 6].

которого относят к русской литературе главным образом только потому, что он писал по-русски”. На первый взгляд все это кажется очень верным. Влияние французской поэзии на Поплавского несомненно. В нем чувствовалась прямо какая-то родственная близость к парижским “проклятым поэтам”. Его стихотворение о Рэмбо написано словно по личным воспоминаниям. <...> Поплавского и вправду легко себе представить в кафе за одним столиком с Рэмбо и Верленом. Они приняли бы его как своего. Может быть, так и будет в раю. Но ни с одним современным французским литератором Поплавский знаком не был, ни в какие французские редакции и литературные салоны не был вхож. <...> А прав, по-моему, Адамович, когда говорит, что французская и западная вообще культура попала в случае Поплавского на психологически чуждую почву⁷. Думаю, на почву, чуждую не только психологически. Все сознание Поплавского было абсолютно иноприродно “острому галльскому смыслу”, всей картезианской стороне французского гения. Нет, он был поэт не полуфранцузский и не парижский, а эмигрантский, русско-монпарнасский. Когда он говорит: “не Россия, и не Франция, а Париж”, нужно помнить, что его Париж — это Монпарнас, “где человек другой, чем повсюду, породы... вырванный из земли, как мандрагора”⁸» [Варшавский, 2010, с. 149–150]⁹. Тема влияния французской литературы на творчество Поплавского заслуживает всяческого внимания. Убедительно и полно она была раскрыта в ряде современных исследований¹⁰.

Между тем образ «царевича Монпарнаса» был важен для Варшавского своей априорной исключительностью и одновременно становился образом собирательным. «Человек другой, чем повсюду, породы», представитель молодого поколения русской эмиграции первой волны — это герой целого ряда программных статей Варшавского, появившихся в эмигрантской прессе в 1930-е гг. В этот период в межвоенной периодике печатаются его «Несколько рассуждений об Андрэ Жиде и эмигрантском молодом человеке» [Варшавский, 1930/31], «О “герое” эмигрантской молодой литературы» [Варшавский, 1932], «О прозе “младших” эмигрантских писателей» [Варшавский, 1936], в эту же парадигму органично вплетены книга «Незамеченное поколение» и работы 1970-х: доклад «Русский Монпарнас», фрагменты новой редакции «Незамеченного поколения» и статья

⁷ Варшавский имеет в виду следующее рассуждение Адамовича: «Русская литература моложе западноевропейской по своему культурному возрасту, и лишь в самое последнее десятилетие, чуть-чуть ослабев и растерявшись, она принялась ее спешно догонять и перенимать ее темы и мотивы. Поплавский был не только сыном этих десятилетий, но и детищем Запада, — по своей оторванности от России, по навязанному ему судьбой эмигрантски-парижскому положению. Для него Артур Рэмбо был по меньшей мере столь же дорог и близок, как и Пушкин, — потому что он во Франции вырос, во Франции сложился и ее веяниями был пронизан. Духовная раздробленность новой западной культуры в его душе осложнилась еще тем, что попала она на психологически чуждую почву, и Поплавский, неуравновешенный по природе, метался, не зная, куда пристать» [Адамович, 1935, с. 2].

⁸ Варшавский приводит фрагмент романа Поплавского «Домой с небес» [Поплавский, 1937, с. 3–54]. Впервые три отрывка из романа «Домой с небес» появились в альманахе «Круг» [Круг].

⁹ Тот же полемический фрагмент присутствует и в докладе «Русский Монпарнас».

¹⁰ Назовем лишь наиболее внушительные: [Livak; Матвеева; Токарев]. Этой теме была посвящена международная научная конференция [см.: Русская эмигрантская...].

«Монпарнасские разговоры». «Человек, вырванный из земли как мандрагора» Бориса Поплавского — тот же «голый человек на голой земле» Владимира Варшавского («О прозе “младших” эмигрантских писателей») [Варшавский, 1936, с. 410], или «это действительно как бы “голый” человек, и на нем нет “ни кожи от зверя, ни шерсти от овцы”» («О “герое” эмигрантской молодой литературы») [Варшавский, 1932, с. 164]. Принципиально для обоих писателей здесь именно то, что речь идет о человеке «другой породы», о новейшем, исключительно эмигрантском опыте редукции внешних признаков социально обустроенной жизни, включенности в нее. Эта выброшенность из истории, которой посвящены многие страницы литературы «первой волны» русской эмиграции, лапидарно описана Георгием Ивановым: «Хорошо — что никого, / Хорошо — что ничего, / Так черно и так мертво, / Что мертвее быть не может / И чернее не бывать» [Иванов, т.1, с. 276]. О том же процессе усекования пишет Борис Поплавский: «Никто... Никого... Ничто... Никакого народа... Никакого социального происхождения... Политической партии, вероисповедания...» [Поплавский, 1937, с. 52]. К этой цитате из романа «Домой с небес» Варшавский обращается неоднократно, замечая: «О многих других монпарнасских поэтах и героях все это можно повторить» [Варшавский, 2010, с. 149].

С одной стороны, Варшавский в своем цикле статей о человеке «другой породы» фиксирует его полное социальное поражение, когда «мучительные смещения соотношений между индивидуальным и социальным “я” делают отчужденность эмигранта похожей на страшное, более полное, чем на необитаемом острове, одиночество людей, например, скрывающих совершенное ими преступление или какой-нибудь свой страшный неизлечимый недуг» [Варшавский, 1936, с. 410]; с другой — парадоксальным образом именно это отсутствие социально-внешних обозначений жизни становится для младоэмигранта Варшавского организующим и творящим началом, преобразуется в новое качество. «И вот выброшенный из жизни других людей герой эмигрантской литературы, которого окружающие люди ничем не ценят и не меряют, который (в социальном смысле во всяком случае) не имеет никакого определенно отражения на поверхности бытия, невольно начинает интересоваться своим Динг ан зих¹¹ и тем самым становится против обществу на сторону “сущности”» [Варшавский, 1932, с. 166].

В статье «О прозе “младших” эмигрантских писателей», написанной пятью годами позже, Варшавский продолжает мысль: «Ибо, чем дальше сознание человека роет в глубину себя, тем сильнее в нем проступает темное, невыразимое ощущение не своего экстерииоризированного в объективном мире “я”, а своего настоящего существа, не определяемого никакими “паспортными” обозначениями и как бы уходящего корнями внутрь огромной, не могущей никуда исчезнуть, занимающей все место жизни» [Варшавский, 1936, с. 413].

¹¹ *Ding an sich* — вещь в себе (нем.).

Для Варшавского Борис Поплавский был идеальным примером этого внутреннего поиска и преодоления. Насколько реальный поэт и человек Борис Поплавский соответствовал «герою» эмигрантской молодой литературы Владимира Варшавского? Во многом этот образ Варшавский пропускал через себя и через свой жизненный и философский опыт. В то же время дневниковые записи Поплавского, очевидно, пересекаются с идеями Варшавского: «Стоическое — милое — нет родины, нет своего языка, своих привычек, своей природы, своего характера, своего города — все в становлении, все от притяжения ценности: “Мы были разными и потом ничем, когда возмутились властью природы”. — “Затем мы стали тем, что полюбили”. — Превращение в любимое. Любовь как сила превращения в любимое, как пластический медиум становления» (запись от 15 марта 1929) [Поплавский, т. 3, с. 415].

На этой идее «превращения», «пластического медиума становления» хотелось бы остановиться отдельно. Для Варшавского становление из ничего, или сотворение из пустоты (хаоса), несет, конечно, в себе библейский прообраз. Так, в статье «О “герое” эмигрантской молодой литературы» он сравнивает становление молодой литературы с сотворением из глины Адама, в которого Бог вдохнул душу. В «Незамеченном поколении» он последовательно проводит тему «нового рождения», замечая: «...это не вера в будущую, после смерти, вечную жизнь, а ощущение пребывания в вечной жизни уже сейчас, как в каком-то особом измерении данной нам действительности» [Варшавский, 1956, с. 202; Варшавский, 2010, с. 170]. Глубоко связанным с этой «подлинной встречей с Богом» становится и образ белой страницы, к которому в своем «монпарнаском» цикле Варшавский обращается неоднократно. Сначала он возникает в статье 1932 г. «О “герое” эмигрантской молодой литературы», где Варшавский заметит: «В известном смысле она [эмигрантская молодая литература] существует потому, что ее нету, нету как материала для историко-литературных и формально-критических исследований, нету как общественного факта, вообще ее нету на поверхности бытия. В каком-то смысле она существует почти только как ненаписанная белая страница. И тем не менее она существует реальнее, чем многие “факты”, и, находясь на стороне “сущности” против общественности, тем самым является современной литературой» [Варшавский, 1932, с. 167].

В полной свободе эмигранта от внешне устоявшихся законов социальной жизни, от формальных опознавательных знаков времени Варшавский видел уникальную возможность новой эмигрантской литературы обратиться к вопросу о самом главном. На фоне тотального кризиса гуманизма, охватившего Европу первой половины XX в., «вопрос о человеке», как он был поставлен молодой литературой русской эмиграции, давал шанс внести хрупкое равновесие в облик европейской истории и культуры. Во всяком случае, именно в этой чисто эмигрантской возможности «начать все заново», с «чистого листа» Варшавский видел главный замысел молодой литературы русского Монпарнаса и, шире, назначение «незамеченного поколения» в истории. «Так как именно сейчас, на пороге огромных ассирийских изменений, входящих в мир,

происходит как бы последняя трагическая безвыходная борьба между уничтожаемой сущностью и торжествующей общественностью» [Там же]. Весь пафос книги «Незамеченное поколение» с его заключительной главой (в новой редакции под названием «Погибшие за идею») о русских эмигрантах, принявших самое активное и беззаветное участие в историческом деле, о героях «Резистанса» (Вера Оболенская, Илья Фондаминский, мать Мария, Борис Вильде, Дмитрий Клепинин и др.), как и добровольное участие самого Варшавского во Второй мировой войне против нацистов на стороне французской армии, проникнуты идеей борьбы за «сущность».

Позже, в докладе «Русский Монпарнас» и в «Монпарнасских разговорах», он снова упомянет «белую страницу» в перечислении главных черт литературы младоэмигрантов русского Парижа: «...недоверие ко всему, кроме прямой исповеди и человеческого документа, убеждение, что исследование скрытых душевных движений важнее описаний воображаемых приключений воображаемых героев, вплоть до идеи белой страницы» [Варшавский, 1977, с. 13]. Не углубляясь далее в особенности поэтики Парижской ноты, или «школы Адамовича», Варшавский делает логический скачок к разговору о «самом главном» — к идеям программной для него статьи Адамовича. А между тем в этом резком переходе закодирована прямая закономерность между поиском литературной формы и «сущностным» поиском «незамеченного поколения». «Для нас важно было другое, — продолжает Варшавский, — что же именно? Статью Георгия Адамовича “Несостоявшаяся прогулка” можно назвать манифестом русского Монпарнаса. “Возвращаясь к литературе, — писал Адамович, — я ничуть не настаиваю на том, что во всем написанном “нами” есть след непосредственных встреч с Богом, смертью и другими великими мировыми представлениями. Подлинные встречи редки и трагичны: они наперечет. Но заражен воздух, отзвук чужих, огромных катастроф докатился до всех, и мелкая разменная монета этого рода — в кармане каждого здешнего романиста или поэта”¹²» [Там же]¹³. В докладе «Русский Монпарнас» эту подлинную встречу Варшавский напрямую свяжет с именем Бориса Поплавского: «О “встрече с Богом” исступленной всех мечтал Поплавский, главный продолжатель “несостоявшейся прогулки”». И в подтверждение своих мыслей обратится к дневниковым записям поэта: «Ибо только нищий, не живущий ничем в себе, получает жизнь в Нем или, вернее, не копя жизнь в себе, может его принять...» [Поплавский, 1938, с. 31–32; Поплавский, т. 3, с. 427]. Трактую его жизненный и творческий путь как своеобразное путешествие, Варшавский заметит: «Путешествие, им предпринятое, было другого рода, — не в пространстве, а из

¹² Впервые статья Г. Адамовича вышла в 1935 г. [Адамович, 1935а], в переработанном виде вошла под названием «Сомнения и надежды» в книгу Адамовича «Одиночество и свобода» [Адамович, 1955, с. 295–314]. О программном значении статьи Адамовича говорилось на пятом заседании «Круга» (16 декабря 1935 г.): «В статье Г. В. Адамовича можно уловить новый звук, чуждый его прежним писаниям. В ней чувствуется новый поворот к жизни через любовь к ней. <...> В настроениях Г. Адамовича не “amor fati”, а мучительное искание. Душа, самоуслаждающаяся ощущением гибели, не могла бы быть столь ищущей и беспокойной» [Круг].

¹³ Этот же фрагмент присутствует и в докладе «Русский Монпарнас».

пространства и из социального общего мира во внутреннее измерение жизни, в “подлинную реальность”, как он говорил» [Варшавский, 1956, с. 208–209]¹⁴.

Как видим, главные опознавательные признаки Парижской ноты — «недоверие ко всему, кроме прямой исповеди», отказ в поэтике от всего лишнего вплоть до «белой страницы» — у Варшавского прочно вплетены в разговор о новом фундаментальном опыте молодого поколения русской эмиграции. Этот поэтический эксперимент, в основе которого — сознательная редукция («вплоть до идеи белой страницы»), и этот философский опыт («уход во внутреннее измерение жизни») вызывал и оценки в русском зарубежье. Известна восторженная оценка Георгия Иванова в рецензии на поэтический сборник «Флаги» [Иванов, т. 3, с. 531–534]. Известна и диаметрально противоположная Владислава Ходасевича в статье «Книги и люди. Два поэта», где говорится о «большой литературной опасности, грозившей Поплавскому», об ослаблении инстинкта поэтического самосохранения, которое особенно сказалось в сборнике стихов «Снежный час» (с точки зрения Ходасевича, наиболее аутентичной книге поэта) и в конечном счете должно было обернуться молчанием: «Быть может, он перестал бы писать стихи, перейдя на прозу всецело. Но ведь и как прозаика его подстерегали те же “проклятые вопросы”, которые разъедали поэта» [Ходасевич, с. 421].

Рецензия на «Снежный час» была написана вскоре после смерти «царевича Монпарнаса» и потому рассуждения о грозящей Поплавскому поэтической немоте навсегда останутся гипотезой. Сам Поплавский признавался в дневнике: «Молчание белой бумаги. Белый лист наводит на меня какое-то оцепенение. Как студеное поле, перед которым кажется неважным все — цветы и звуки» [Поплавский, т. 3 с. 283]. Между тем, если подсчитать количество употреблений слова «молчание» в поэзии Поплавского и производных от него слов, то очевидной становится необычайная частота их употребления не только в «Снежном часе», но во всех поэтических сборниках¹⁵. Скорее всего, здесь мы имеем дело не с инерцией «угасания» стиха, а с последовательным экспериментом «на границе звука» (из стихотворения «Paysage d'enfer» [Поплавский, т. 1, с. 101]), когда замысел (тема, лейтмотив), постепенно срастается с формой.

Не всеми литературными критиками русского зарубежья этот опыт воспринимался как «литературно губительный». Так, известный филолог П. М. Бицилли в рецензии на «Якорь. Антологию зарубежной поэзии» (Париж, 1936), куда вошли (не без влияния Г. В. Адамовича) в большом количестве стихи поэтов русского Монпарнаса, пишет о появлении новой поэзии, «укорененной в особом, совершенно новом сознании» [Бицилли, с. 454]. В то же время эту

¹⁴ Фраза, последовательно переходящая из книги «Незамеченное поколение» в доклад «Русский Монпарнас» и далее, в переработанном виде, в новую редакцию «Незамеченного поколения» [Варшавский, 2010, с.175].

¹⁵ Эта работа отчасти проведена была нами [см.: Васильева, с. 199–208]. В докладе «Русский Монпарнас» Варшавский повторяет проделанный еще в «Незамеченном поколении» [Варшавский, 1956, с. 195–196] статистический анализ слова «сон» (и его производных и синонимов): «С интонацией, напоминающей гамлетовское “ту дай, ту слип”, слова: *спи, усни, спать, уснуть, забудь, смирись, лежать, сон, спал, спать ложусь* — повторяются почти в каждом стихотворении “Снежного часа”».

«совершенно новую» поэзию он соотносит с именем Пушкина, замечая при этом, что «Пушкин узнал бы в этой поэзии ту, какую он только прозревал» [Там же, с. 453]. Почему филолог упоминает именно Пушкина? В межвоенные годы Бицилли как пушкинист создал ряд работ, в которых проследил постепенную эволюцию пушкинской поэзии, ее движение от внешней «выразительности» к простоте формы без потери метафизической глубины. Речь здесь идет о присутствии в поэзии «несказанного» (неоплатонического «невывразимого»), о той метафизической плотности поэзии, которая становится, говоря словами Георгия Иванова, «как бы обратно пропорциональной ее воплощению в размерах и образах» [Иванов, т. 3, с. 532]. С точки зрения Бицилли, это и был самый сложный путь к поэтическому совершенству. Объяснение этого парадоксального требования к поэтической ткани, которая, по логике, вся должна быть «установкой на выражение», мы находим в программной статье Бицилли «Образ Совершенства» (1937), посвященной Пушкину. В ней, анализируя «На холмах Грузии», автор замечает: «...это стихотворение звучит для нас как одно Слово» [Бицилли, с. 380]. В поздней работе «Пушкин и проблема чистой поэзии» (1943) Бицилли снова вернется к анализу стихотворения: «Все окрашено общим колоритом, проникнуто одним и тем же эмоциональным тоном, так что можно утверждать, что... отдельные слова воспринимаются как одно слово, а это означает, что и здесь требование совершенства, завершенности осуществлено в полной мере. <...> В пределе это есть что-то не изъяснимое, невыразимое (выделено автором, разрядка наша. — М. В.), подобное божеству, Абсолюту в понимании Николая Кузанского» [Там же, с. 123]. В рукописном (т. е. несокращенном) варианте рецензии на антологию «Якорь» словно резонансом звучит следующее суждение Бицилли: «Чем поэтичнее слово, тем интимнее, тем глуше звучит оно. Предел музыкальности слова там, где мы воспринимаем стихи как бы без слов, когда они звучат в нас — молча» [Там же, с. 554–555].

Философская интуиция Варшавского, поднявшего вопрос о сущностной наполненности «белой страницы» молодой эмигрантской литературы, пересекается с размышлениями Бицилли о «невывразимом» как неоплатоническом «сверхсущем» в русской поэзии. Одновременно цикл статей Варшавского о молодой эмигрантской литературе, глава о русском Монпарнасе в «Незамеченном поколении» и примыкающие к нему работы 70-х могли бы служить ответом на замечание Ходасевича, что в конце жизни вопрос «как писать?» стал интересовать Поплавского куда меньше, нежели вопрос «как жить?» (по словам Ходасевича, «путь — по-человечески достойный, даже трогательный, но литературно гибельный» [Ходасевич, с. 421]). В понимании Варшавского, эти два вопроса были глубинно связаны в судьбе Поплавского, и работа над формой (вопрос «как писать?») напрямую соотносилась с вопросом «как жить?», или, говоря словами самого Варшавского, с путешествием человека новой, «другой, чем повсюду, породы», поэта новой формации «из социального общего мира во внутреннее измерение жизни, в “подлинную реальность”».

Обращение американской славистики к творчеству Поплавского вновь сделало разговор о «герое» эмигрантской молодой литературы животрепещу-

щим для Варшавского. Полемика, которую предпринял писатель в адрес Карлинского, была в немалой степени продиктована также и личным опытом общения с поэтом. Не случайно эпитафией к статье «Монпарнасские разговоры» Варшавский возьмет строки из книги «Отражения» Зинаиды Шаховской: «Память нечто очень личное, субъективное, вот отчего мемуары об одних и тех же людях, об одних и тех же событиях так разнообразны и часто противоречивы» [Шаховская, с. 5]. В то же время именно в этом пункте, в разговоре о русском Монпарнасе и его главном герое Борисе Поплавском, спор для Варшавского выходил на совершенно иной, глобальный, теоретический уровень. По крайней мере, именно здесь стоит искать и его понимание исключительного назначения «молодой эмигрантской литературы», и эстетического, философского и нравственного опыта его поколения, и, наконец, здесь во многом стоит искать множественные смыслы метафорического названия его книги «Незамеченное поколение». «Почему я пишу все только о Поплавском, ничего о других? — замечает он в “Монпарнасских разговорах”. — В газетной статье о всех не скажешь, а Поплавский был главный выразитель монпарнасского умонастроения. Он был наш Монпарнас» [Варшавский, 1977, с. 13].

Итак, Монпарнас и Поплавский — для Варшавского это некая единая идеологема, требующая уяснения имманентных законов. Карлинский, с точки зрения Варшавского, проделал обратную работу. Приближая Поплавского и его эпоху к современному читателю, делая «родным» для западного менталитета через дискурс французской поэзии или через доступные символы 70-х («Да, напишите о нем что-нибудь, в конце концов он был первый хиппи, первое дитя цветов», — вспоминает Карлинский совет Набокова [Karlinsky, p. 362]), автор статьи «В поисках Поплавского», в понимании Варшавского, в процессе этой работы проходил мимо самого Поплавского, феномен русского Монпарнаса оставался за рамками исследования.

Для самого Варшавского именно Поплавский был «самым эмигрантским из всех эмигрантских писателей» [Варшавский, 1956, с. 189; Варшавский, 2010, с. 161]. Видимо, с точки зрения Варшавского эпохи 70-х, опыт «человека другой породы» не был до конца воспринят XX столетием с его торжеством «масс», агрессией разума, бесчеловечными экспериментами в истории и формальными схемами в области искусства¹⁶. Здесь стоит, как мне кажется, искать множественность смыслов метафорического термина «незамеченное поколение».

¹⁶ В своем дневнике середины 1970-х гг. Владимир Варшавский выносит неутешительный вердикт XX в.: «И опять вспомнил, как безжалостно одни животные уничтожают других. Что это закон жизни и человек всегда служил этому закону. И Евангелие ничего не исправило, ничего не изменило. На нем выросла великая культура. Великая цивилизация, но люди не стали лучше, не стали добрее. Уже не говоря там о Гитлере или Сталине, но даже в мирное время, в мирной жизни мирных городов какие страшные джунгли: убийства, насилие, побои, порабощение. Превращение живого в труп» (запись от 6 февраля 1973); «Читаю историю, вспоминая, что происходит теперь в мире, вспоминая чему я сам был свидетелем, мне просто хочется кричать от ужаса, кричать, как Иван Ильич, на “у”. Но мешает самолюбие: вот — скажут — истерии, баба. И останавливает сознание быть мужественным. Не хорошо перед другими людьми кричать от ужаса: им нужно жить, бороться, принимать решения. Мой крик им будет мешать: ведь как бы ни был страшен мир и страшна история, нужно продолжать жить» (запись от 1 октября 1975) [ДРЗ, ф. 54].

Безусловно, не только о «стратегиях самопрезентации» в области литературы здесь идет речь, не только об извечном желании молодых писателей быть напечатанными и признанными¹⁷. Для Варшавского, вернувшегося в первой половине 1970-х гг. к работе над новой редакцией «Незамеченного поколения», опыт русского Монпарнаса был своего рода «несостоявшейся прогулкой» в истории: не случайно так писатель в своих «Монпарнасских разговорах» в 1970-х гг. снова вернется к этой статье Георгия Адамовича, выдвинувшего идею о безотносительной ценности одиночества литературы русской эмиграции. Публикация в «TriQuarterly» во многом служила доказательством этой «незамеченности»: «Карлинский пишет много верного о Поплавском, вообще замечательно, что он Поплавского “открыл”, — заметит Варшавский в докладе «Русский Монпарнас». — Но мне, знавшему Поплавского лично, его образ, рассматриваемый Карлинским через призму другой культуры и другой исторической эпохи, кажется искаженным, так преломляются очертания предметов, погруженных в воду. Поплавский Карлинского — это Поплавский, но не совсем Поплавский».

Сам Варшавский эпохи 70-х, видимо, не претендовал на полную объективность суждений и точность созданного им портрета. В своих «монпарнасских разговорах» он уже шел против мейнстрима рецепции поэзии Поплавского, сложившегося еще 1920-е гг. и набирающего силу. Об этом свидетельствует и «оговорка» в виде эпитафии к статье «Монпарнасские разговоры», и его переписка с Николаем Татищевым. 19 августа 1974 г., работая над докладом «Русский Монпарнас», Варшавский пишет другу и душеприказчику Поплавского: «...он был такой многосторонний, полный метаний человек, что у каждого из нас свой Поплавский, каждый находит в нем близкого себе. Поплавский Карлинского не мой Поплавский, но мой Поплавский тебе, верно, так же чужд, как мне Поплавский Карлинского...» [ДРЗ, ф. 54].

Насколько Татищеву оказался близок или чужд Поплавский Варшавского, в ответном письме не написано, а вот об американском слависте сказано следующее: «Карлинский не понимал Бориса, Карлинский в литературе не пошел дальше “Задушевного слова”¹⁸» (из письма Н. Д. Татищева В. С. Варшавскому, 19 августа 1974) [ДРЗ, ф. 54].

Не менее жестко об американском «поплавсковедении» высказался и Марк Слоним, присутствовавший на докладе Варшавского и отправивший ему на следующий день письмо:

¹⁷ Такое видение «незамеченного поколения» присутствует в ряде современных исследований. Как рациональные «модели поведения» и «стратегии самопрезентации» феномен незамеченности трактуется, например, в книге И. Каспэ. О самом поколении автор судит весьма скептически: «Это поколение легко исчезает из поля зрения. Его история вполне может выстраиваться как последовательное удостоверение отсутствия: отсутствия живой и талантливой молодежи, отсутствия внятной идеологии новой литературы, — вплоть до удостоверения пустоты, скрывающейся за фальшивым образом “молодого поколения”» [Каспэ, с. 83].

¹⁸ «Задушевное слово» — детский журнал, основанный в 1877 г. в Санкт-Петербурге М. О. Вольфом.

Дорогой Владимир Сергеевич,

Я не пошел вчера со всеми в кафе, потому что устал (и не люблю подвала Ландольта¹⁹, душного и тесного) и не мог сказать Вам, что Ваш доклад был великолепен. Вы захватили слушателей своей искренностью, неподдельным чувством и внутренней правдой, а кроме того дали отличный и трогательный портрет Поплавского и защитили его память от домыслов американских профессоров, делающих карьеру на русских эмигрантах. Доклад Ваш прекрасно написан, его надо обязательно напечатать.

Я «монпарнасцем» не был, и «нота» Адамовича — Иванова мне всегда была чужда и неприятна, они были певцами и идеологами уныния, безверия, поражения и разложения. Марксисты скажут, что они отражали психологию «побежденного класса». Монпарнас погиб не только во времени, но и в тех, у кого была душа жива и кто не хотел терять связи с Россией. И хотел на Россию, для России (а не эмиграции) работать. И исторически оказались правыми противники Монпарнаса — даже в области литературы, потому что из России пришел и Пастернак, и Заболоцкий, и молодежь послевоенная, и Паустовский, и Некрасов, и Солженицын, и все те, кто страдал, мучился, но не сдался. Вот в чем спор о Монпарнасе. Поговорим об этом когда-нибудь без толпы, с глазу на глаз — и говорить будет легко, потому что Вы сами Монпарнас преодолели и с ним — в нем — не остались.

Сердечно Ваш *Марк С.* [ДРЗ, ф. 54]

Письмо, в сжатой форме выразившее позицию Марка Слонима и в то же время написанное как будто в поддержку Варшавского, оказалось не менее красноречивым доказательством «незамеченности» уникального опыта молодой эмиграции «первой волны». По крайней мере — в том «новоградском», глубоко философском понимании, которое привнес своим циклом статей о русском Монпарнасе и книгой «Незамеченное поколение» Владимир Варшавский. Только, в отличие от Карлинского, Слоним измерял «человека другой, чем повсюду, породы» не французской литературой и не модной на Западе в 70-е гг. субкультурой хиппи, а застывшими формулами «отцов-общественников» вроде «психологии “побежденного класса”».

Адамович Г. Несостоявшаяся прогулка // Современные записки. 1935а. № 59. С. 288—296. [Adamovich G. Nesostojavshaysia progulka // Sovremennye zapiski 1935а. № 59. S. 288—296.]

Адамович Г. Памяти Поплавского // Последние новости. 1935б. 17 окт., № 5320. С. 2. [Adamovich G. Pamiati Poplavskogo // Poslednie novosti. 1935b. 17 okt., № 5320. S. 2.]

Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. 318 с. [Adamovich G. Odnochestvo i svoboda. N'yu-York, 1955. 318 s.]

Биццлли П.М. Трагедия русской культуры : исследования, статьи, рецензии. М., 2000. 608 с. [Bizilli P.M. Tragedija russkoj kul'tury : issledovanija, stat'ji, retenzii. M., 2000. 608 s.]

Варшавский В. Несколько рассуждений об Андрэ Жиде и эмигрантском молодом человеке // Числа. 1930/31. № 4. С. 216—222. [Varshavsky V. Neskol'ko rassuzhdenij ob Andre Zhide i emigrantskom molodom cheloveke // Chisla. 1930/31. № 4. S. 216—222.]

¹⁹ Популярное в Женеве кафе «Ландольт» («Landolt»), связанное с именами Бакунина, Троцкого, Ленина, находящееся недалеко от Женевского университета, стало излюбленным местом встреч участников Русского кружка, которые проходили после заседаний.

Варшавский В. О «герое» эмигрантской молодой литературы // Числа. 1932. № 6. С. 164—172. [Varshavsky V. O «geroe» emigrantskoj molodoj literatury // Chisla. 1932. № 6. S. 164—172.]

Варшавский В. О прозе «младших» эмигрантских писателей // Современные записки. 1936. № 61. С. 409—414. [Varshavsky V. O proze «mladshikh» emigrantskikh pisatelej // Sovremennye zapiski. 1936. № 61. S. 409—414.]

Варшавский В. Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. 388 с. [Varshavsky V. Nezamechennoe pokolenie. 1956. 388 s.]

Варшавский В. Монпарнассские разговоры // Русская мысль. 1977. 21 апр., № 3148. С. 13. [Varshavsky V. Monparnassskie razgovory // Russkaja Mysl'. 1977. 21 apr., № 3148. S. 13.]

Варшавский В.С. Незамеченное поколение. М., 2010. 544 с. [Varshavsky V. S. Nezamechennoe pokolenie. M., 2010. 544 s.]

Васильева М. На границе звука // Дружба народов. 1997. № 12. С. 199—208. [Vasilieva M. Na granitze zvuka // Druzhba narodov. 1997. № 12. S. 199—208.]

ДРЗ (Дом русского зарубежья). Ф 54 (фонд писателя Варшавского).

Иванов Г. В. Собрание сочинений : в 3 т. Т. 1 : Стихотворения. М., 1993. 656 с. ; Т. 3 : Мемуары. Литературная критика. М., 1993. 720 с. [Ivanov G. V. Sobr. soch. : v 3 t. T. 1 : Stikhotvoreniya. M., 1993. 656 s. ; T. 3 : Memuary. Literaturnaya kritika. M., 1993. 720 s.]

Каспэ И. Искусство отсутствовать : Незамеченное поколение русской литературы. М., 2005. 192 с. [Kaspe I. Iskusstvo otsutstvovat' : Nezamechennoe pokolenie russkoj literatury. M., 2005. 192 s.]

Круг // Новый град. 1936. № 11. С. 138—139. [Krug // Novyi grad. 1936. № 11. S. 138—139.]

Матвеева Ю. Самосознание поколения в творчестве писателей-младоэмигрантов. Екатеринбург, 2008. 196 с. [Matveeva Ju. Samosoznanie pokolenija v tvorchestve pisatelej-mladoemigrantov. Ekaterinburg, 2008. 196 s.]

Поплавский Б. Домой с небес // Круг. 1936. № 1. С. 3—21; 1937. № 2. С. 3—55; 1938. № 3. С. 97—121. [Poplavsky B. Domoj s nebes // Krug. 1936. № 1. S. 3—21; 1937. № 2. S. 3—55; 1938. № 3. S. 97—121.]

Поплавский Б. Из дневников, 1928—1935. Париж, 1938. 67 с. [Poplavsky B. Iz dnevnikov : 1928—1935. Parizh, 1938. 67 s.]

Поплавский Б. Собрание сочинений : в 3 т. Berkeley, 1980—1981. [Poplavsky B. Sobraniye sochinenij : v 3 t. Berkeley, 1980—1981.]

Поплавский Б. Собрание сочинений : в 3 т. Т. 3 : Статьи. Дневники. Письма. М., 2009. 624 с. [Poplavsky B. Sobraniye sochinenij : v 3 t. T. 3 : Stat'ji. Dnevniki. Pis'ma. . M., 2009. 624 s.]

Русская эмигрантская литература и «внутренние мистерии европейской мысли : (к 110-летию со дня рождения Б. Поплавского), 17—18 июня 2013. / Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) РАН. М., 2013. [Russkaya emigrantskaya literatura i «vnutrennie misterii evropejskoj mysli : (k 110-letiju so dnya rozhdeniya B. Poplavskogo, 17—18 iyunya 2013.) / In-t rus. lit. (Pushkinskij Dom) RAN. M., 2013.]

Святополк-Мирский Д. Заметки об эмигрантской литературе // Евразия. 1929. 5 янв., № 7. С. 6—7. [Sviatopolk-Mirskij D. Zametki ob emigrantskoj literature // Evrazija. 1929. 5 jan., № 7. S. 6—7.]

Татищев Н. Борис Поплавский // Круг. 1938. Т. 3. С. 150—161. [Tatishev N. Boris Poplavsky // Krug. 1938. T. 3. S. 150—161.]

Токарев Д. «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе. М., 2011. 325 с. [Tokarev D. «Mezhdu Indiej i Gegelem»: Tvorchestvo Borisa Polavskogo v komparativnoj perspective. M., 2011. 325 s.]

Ходасевич В. Книги и люди. Два поэта // Поплавский Б. Неизданное. М., 1996. С. 419—422. [Kchodasevich V. Knigi i liudi. Dva poeta // Poplavsky B. Neizdannoe. M., 1996. S. 419—422.]

Шаховская З. Отражения. Р., 1975. 230 с. [Shakchovskaya Z. Otrazhenija. P., 1975. 230 s.]

Шмеман А., прот. Ожидание : памяти Владимира Сергеевича Варшавского // Континент. 1978. № 18. С. 261–277. [Shmeman F., prot. Ozhidanie: Pamiati Vladimira Sergeevicha Varshavskogo // Kontinent. 1978. № 18. S. 261–277.]

Karlinsky S. Surrealism in Twentieth-Century Russian Poetry: Churilin, Zabolockii, Poplavskii // Slavic Review. 1967. Vol. 26, № 4. P. 605–617.

Karlinsky S. In Search of Poplavsky: A Collage // TriQuarterly. 1973. Vol. 27. P. 342–364.

Karlinsky S. Poplavsky yesterday and today // The Bitter Air of Exile: Russian Writers in the West, 1922–1972 / ed. by S. Karlinsky, A. Appel. Los Angeles, 1977. P. 326–332).

Livak L. How It Was Done In Paris. Russian Emigre Literature and French Modernism. Madison, 2003. xi + 316 p.

Olcott A. Poplavsky: the heir presumptive of Montparnasse // TriQuarterly. 1973. Vol. 27. P. 305–319.

Статья поступила в редакцию 03.10.2013 г.

УДК 821.161.1-14 + 821.161.1 Поплавский +
+ 821.161.1 Рыжий + 821.161.1 вавилов

Н. В. Барковская

«ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ КУЛЬТУРЫ»: ТРАДИЦИИ БОРИСА ПОПЛАВСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ УРАЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ*

Рассматриваются традиции творчества Б. Поплавского в поэзии Б. Рыжего и А. Вавилова. Сходство поэтических миров поэтов обусловлено воспроизводящей ситуацией радикальной смены социальных и культурных обстоятельств. Различия в лирической атмосфере объясняются не только индивидуальными особенностями поэтов, но и изменением общего состояния культуры.

Ключевые слова: современная поэзия; Борис Поплавский; уральская поэзия; элегичность; сюрреализм; гротеск.

Борис Поплавский, поэт рубежа тысячелетий, наследовал поэтические принципы русской классики (особенно отчетливо слышны в его лирике «музыка» И. Анненского и некоторые мифологемы А. Блока), вместе с тем он шел принципиально новыми путями в общеевропейском русле модернизма. Естественно, что созданная Б. Поплавским поэтическая Вселенная [Менегальдо] актуализируется как раз в переломные, кризисные периоды жизни общества. Так произошло на рубеже XX–XXI вв., когда Поплавский (как и его персональный миф, окутанный тайной и ореолом трагической смерти, избранности и «проклятости») стали особенно популярны у молодых поэтов, избравших позицию маргиналов. Кроме того, творчество Б. Поплавского весьма многогранно и может давать «боковые побег» в самых разных направлениях, в зависимости

* Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ «Лирическая книга как культурный феномен России и Беларуси», № 13-24-01001.